
А.С. Суворин¹

[Воспоминания о Некрасове]

<...> Огромный ум Некрасова, воспитанный прямо и почти только на одной жизни, противился теоретическим представлениям, расплывавшимся в широковещательные речи, в самосозерцание, в благоговение перед «прекраснодушием» и становился во вражду с теорией тем резче, чем больше в самом себе он находил того же идеализма. Русский человек до мозга костей, доказавший страстными строфами о родине, как он ее любит, как он ей предан, Некрасов был типическим представителем великорусского племени и типическим, оригинальным русским поэтом. Своя русская, жизненная философия жила в нем и давала о себе знать уже юноше, прошедшему жизненную школу. Он вырос в большого человека, настолько большого, что, говоря о нем, следует не руководствоваться теорией умолчания; этот характер был вовсе не такой простой и такой обыденный, как это казалось и кажется иным нашим соотечественникам, и судить о нем невозможно по обыкновенной мерке.

«Большой практик он был, — говорят о нем, — и стихи иногда хорошие писал, и в карты играл отлично. У него все это вместе» (передаю это в более мягкой форме, чем говорилось о нем иногда).

Как это просто, в самом деле, и как легко бросить камнем в человека? Но если вы вспомните, какую он прошел школу, если вы вспомните, что он не кланялся, не просил, не заискивал, что он искал только *независимости* и искал исключительно своими силами, что он готов был скорее черт знает над чем трудиться, чем одолжаться даже отцом своим и просить у него помощи, если вы вспомните, как и что ценило тогда общество, как трудно было пролезть вперед на литературном поприще, не сделавшись «покорнейшим», «преданнейшим» слугою, холопом, из которого выжмут весь сок и бросят околевать на чердаке, или на мостовой, или в больнице, подвергая всем унижениям его истлевшую, исстрадавшуюся душу, заставляя ее терпеть незаслуженные муки и биться в бессильной ярости до последнего издыхания, если вы это представите себе — вы поймете, что должен был чувствовать умный и даровитый человек, чувствовавший в себе силу для борьбы.

«Я поклялся не умереть на чердаке, я убивал в себе идеализм, я развивал в себе практическую сметку». Вы найдете много людей большей частью, впрочем, ординарных, посредственных, без ума и таланта, которые возмутятся этим и дадут вам понять, что они идеальнее смотрят на жизнь, что они честнее отдаются ей. Но присмотритесь поближе в этих «честных» людей, и вы увидите, что им бабушка ворожит, что они сплошь и рядом совершают маленькие подлости, даже не замечая этого, что жизнь их исполнена миллионом сделок, ловко объясняемых даже либеральной теорией, что они фыркают своей независимостью, а не исповедуют ее, что они с воспаленными глазами говорят о вашей подлости единственно потому, что своей не понимают и не стараются вникнуть в смысл ваших поступков, который иногда разумнее и выше смысла самой патентованной «честности».

Я не могу говорить все, что знаю о покойном, что слышал от него не однажды: не условия приличий мне мешают, а условия времени. Скажу только одно, что фырканье своей независимостью, то есть проявление ее резкими чертами, быть может, имеет свою цену; во всяком случае, для этого требуется некоторая смелость, но *постоянное* отстаивание своей независимости, искание ее с уступками, конечно, но искание ее во что

¹ Алексей Сергеевич Суворин (1834–1912) начинал свой путь как «либеральный и демократический журналист». В основе воспоминаний его о Некрасове лежат дневниковые записки января 1875 и марта 1877.

бы то ни стало, в течение целой жизни со стороны такого умного человека, каким был Некрасов, бесспорно, принесло ему и всей литературе огромную пользу. Он делал ошибки и проступки, как всякий человек, может быть большие, чем всякий человек, но о них должно судить в связи со всем нашим развитием, в связи с теми резкими переходами от одного ветра к другому, какими так полна была наша жизнь в последние сорок лет. Проживите ее и оставьте по себе такие следы, тогда вам и книги в руки.

Мне кажется, что поэт и человек в Некрасове идут вместе и неразлучно, и он такой именно поэт, потому что был таким именно человеком, каким мы его знали. Некрасов-идеалист, Некрасов-мечтатель, Некрасов, сломленный судьбою, Некрасов, терпеливо выжидающий случая, ждущий у моря погоды, отличающийся всевозможными добродетелями, пылающий при всяком случае благородством и самоотвержением, такой Некрасов не был бы поэтом «мести и печали», не слышалось бы в его поэзии того, о чем сам он говорит, что в ней «кипит живая кровь».

Торжествует мстительное чувство,
Догорая, теплится любовь, —
Та любовь, что добрых прославляет,
Что клеймит злодея и глупца.

Не гений Пушкина и Лермонтова сидел в нем, тот гений, который сам творит почти из ничего, который откликается на все, глубокий и разнообразный, как природа. Талант Некрасова однообразнее, меньше, и не будь он так умен, не пройди он той школы, которую прошел, не испытай на самом себе, не прочувствуй на практике, если можно так выразиться, всех тех мотивов, которые служили предметом его поэзии, он, по всей вероятности, не был бы певцом народного горя и народной силы, не так трепетала бы в его поэзии эта звенящая, надрывающая душу струна. Каторжная борьба с жизнью, погоня за независимостью на том пути, на котором так трудно было найти ее, внутренняя работа для того, чтоб смело и бодро пройти между противоположными течениями, все это обострило его чувство, сообщило его таланту силу именно в том направлении, каким сильна его поэзия.

Скажу больше: не стремись Некрасов к независимости, не вырабатывай он у себя практической сметки, не умеи он пользоваться приобретенным состоянием и большими знакомствами, судьба журналистики русской, столь часто зависевшая от случая, могла быть иною, а журналистика очень много обязана Некрасову. Для нее тоже нужен был «практический человек», но не того предпринимательского закала, который тогда царствовал нераздельно. Нужен был талантливый человек, понимающий ее задачи, широко на них смотревший, строящий успех журнала не на эксплуатации сотрудников, а на идеях и талантах.

— Один я между идеалистами был практик, — говорил Некрасов, продолжая ту речь, начало которой я привел выше. — И когда мы заводили журнал, идеалисты это прямо мне говорили и возлагали на меня как бы миссию создать журнал.

И он создал этот журнал, несмотря на все препятствия, на отсутствие сотрудников, денег и возможности писать что-нибудь такое, что живо затрагивало бы общество. Мы вообразить себе не можем того времени — так мы далеко ушли от той мелкой, но трагической борьбы, потому что она иссушала мозг. Только натура необычайно сильная могла ее выдержать. Некрасов тогда работал по целым суткам. Он рассказывал мне, как писались, например, романы «Три страны света» и «Мертвое озеро».

— У меня в кабинете было несколько конторок. Бывало, зайдет Григорович, Дружинин и другие, я сейчас к ним: «Становитесь и пишите что-нибудь для романа, главу, сцену». Они писали. Писала много и Панаева (Станицкий). Но все, бывало, не хватало материала для книжки. Побежишь в Публичную библиотеку, просмотришь новые книги, напишешь несколько рецензий — все мало. Надо роману подпустить. И подпустишь. Я, бывало, запрუსь, засвечу огни и пишу, пишу. Мне случалось писать без

отдыху более суток. Времени не замечаешь; никуда ни ногой, огни горят, не знаешь, день ли, ночь ли; приляжешь на час, другой и опять за то же. Теперь хорошо вспомнить об этом, а тогда было жутко, и не раз мне приходили на память слова Белинского, которые он сказал мне за неделю до смерти: «Я все думаю о том, – говорил он, лежа грустный, бледный, – что года через два и вы будете лежать так же беспомощно, как я. Берегите себя, Некрасов». Но разве можно было себя беречь?.. А как на нас смотрели тогда — я не говорю о властных особах, а, например, такие знаменитости, как Гоголь. Раз он изъявил желание нас видеть. Я, Белинский, Панаев и Гончаров надели фраки и поехали представляться, как к начальству. Гоголь и принял нас, как начальник принимает чиновников: у каждого что-нибудь спросил и каждому что-нибудь сказал. Я читал ему стихи «К Родине». Выслушал и спросил: «Что же вы дальше будете писать?» — «Что бог на душу положит». — «Гм», — и больше ничего. Гончаров, помню, обиделся его отзывом об «Обыкновенной истории».

Рассказывал он обыкновенно много и живо. Это была живая и умная летопись литературы и жизни, и притом такой жизни, которая для большинства нас — terra incognita¹. Любил читать свои стихотворения, но не иначе, как в интимном кружке.

— В сороковых годах, – говорил он, – писатели думали, что необходимо составлять себе репутацию прежде всего в большом свете, а потому некоторые из нас из фрака не выходили. Я никогда этого не делал. Я бывал у графини Разумовской и других, но в карты там играл: я был равный с равными, а не заискивал, не представлял своих стихов на суд этих господ и госпож. Я всегда думал, что надо репутацию у публики завоевать, а большой свет — какая это публика?

Говаривал он, в особенности в последние годы, и о своем значении в литературе, и всегда чрезвычайно скромно. В прошлом году раз он писал нам между прочим: «Болен так, что не пишется, да и трудно измыслить что-нибудь... Вот всего четыре стиха:

К портрету**

Твои права на славу очень хрупки,
И если вычесть из заслуг
Ошибки юности и поздних лет уступки, —
Пиши пропало, милый друг.

Многим годится и мне в том числе, – прибавил он к этим стихам.

Большие надежды возлагал он на свою поэму «Кому на Руси жить хорошо». Уже больной, он раз говорил с одушевлением о том, что можно было бы сделать, «если б еще года три-четыре жизни. Это такая вещь, которая только в целом может иметь свое значение. И чем дальше пишешь, тем яснее представляешь себе дальнейший ход поэмы, новые характеры, картины. Начиная, я не видел ясно, где ей конец, но теперь у меня все сложилось, и я чувствую, что поэма все выигрывала бы и выигрывала. Боюсь, что не проживу. Плох стал».

Он действительно становился плох, а как он страдал от своей болезни, что выносил — представить трудно. «В январе будет ровно три года, — говорил он незадолго до смерти, — как я заболел», но страдал он особенно сильно года полтора. Нервные боли он чувствовал во всем теле и постоянно должен был переменять положение. То он ходит, то прижмется в угол и стоит неподвижно, то упрется головою об стену, то ляжет и тут не может оставаться и нескольких минут в одном положении: то на один бок повернется, то на другой, то сядет и судорожно сожмет руками ноги, то положит ноги выше головы, то отчаянно закидывает голову назад. Боли усиливаются, долго он терпит и выдерживает — есть всему пределы, и комната оглашается его криком и стонами. Эти припадки случались ежедневно и по несколько раз в день. Ему давали одуряющие вещества, и он

¹ Неизведанная область (лат.).

засыпал. Весной 1877 года страдания усилились необычайно; несчастный рвал на себе белье, схватывал себя за горло. Предположено было сделать ему операцию. За несколько дней до нее я зашел к нему и, против обыкновения, застал его в хорошем состоянии.

Комната была страшно натоплена; больной лежал на кровати, в углу, покрытый простыней — он не мог выдерживать на себе даже одеяло, которое казалось слишком тяжело — так чутки были его нервы.

— Я вас с год не видал таким хорошим, — сказал я.

— Да, сегодня просвет такой нашел, — начал он тихим голосом. — Знаете, как в лесу, в темной чаще. Идешь, идешь и вдруг просвет увидишь. Так и у меня. Несколько дней было ужасно тяжело; я думал, что уж конец. Лежишь в полусознании под влиянием морфия и этих адских мук. Слышишь и видишь даже, что кто-то будто ходит вон там, передо мной. Узнаешь приятеля, и бог знает какие представления делаются. Кажется, что у него кто-то умер и вот он ходит тут такой унылый, и так жалко мне его, так хочется утешить его, а не могу... Да, сегодня просвет у меня, но он сейчас кончится, боюсь. Вот что, чтоб не терять времени: я виноват перед вами — все никак не могу переслать, а стихи вам готовы¹.

Он быстро поднялся с кровати и при помощи человека подошел к столу. На нем была одна рубашка. Тут только увидел я, до чего он исхудал и как сторбилась спина его. На столе лежали листы, исписанные карандашом. Он взял их и снова улегся. Все делал крайне торопливо.

— Видите что. У меня что-то странное выходит. Лежишь дни и ночи с закрытыми глазами, и все картины проходят, люди, деревья, сцены. Отбою нет; приглядываешься, всматриваешься, и так все ясно. В последнее время все мне представляются степи. Без конца лежит степь. Куда ни взглянешь, все степь и степь, сибирская, беспредельная. Вот вижу, снег идет, так и валит хлопьями, и степь белеет, и я смотрю на нее долго, долго. Этот образ степи просто не дает мне покою. И я задумал целую поэму, которую назову «Без роду, без племени». Разные подробности у меня уже сложились, несколько стихов набросано на этих листах, а другие в голове. Понимаете, что будет. По этой степи ходит человек. Он вырвался из острога на волю. А воля эта — степь. И зимой и летом он там. Он бежит, бежит до истощения сил, голодает, холодает. Нигде нет приюта. Тут я опишу, как мучит человека холод, голод, жажда. Это ужасные муки. Я знаю теперь, что значит физическая мука. И вот он идет, и ничего нет, кроме снега и степи... Вдруг видит он что-то черное. Он туда, смотрит — горностайка: замерз, бедняга. Подумал, подумал — бросить горностайку или взять с собой? Все-таки товарищ, божье создание, все будто не один в этой проклятой степи. Снял он шапку, положил горностайку, надел ее опять и снова идет. Все степь и снега, сил не хватает идти. И вот слышит звон. Остановился, прислушался. Жилье близко. Да что там его ждет? Этот звон только раздражает, только напоминает, что есть близко люди, да нельзя к ним идти — он бродяга, без рода, без племени. А звон продолжается. Перекреститься или нет? — думает он. Чему радоваться? И озлобление берет его, и вспоминает он, как жил он между людьми, как этот звон колокольный вызывал в нем чувство. Снял он шапку — глядь, а горностайка шевелится:

¹ Николай Алексеевич принимал самое теплое участие во мне с тех самых пор, как мы хорошо с ним познакомились. Это было в 1872 г. Никакой ему нужды во мне не было, но он приезжал ко мне на Васильевский остров и долго беседовал о литературе. Тогда же он советовал мне завести свою газету и вести ее так, как я сам понимаю. Участие его, совершенно бескорыстное, указывающее именно на нежную его душу, простиралось до того, что в конце 1873 г. он предложил мне значительную для меня сумму на поездку за границу, чтоб оправиться там от постигшего меня несчастья. Я не воспользовался этим предложением, но не могу не вспомнить об этом с глубокою благодарностью. Он же старался убедить меня купить «Новое время» и жалел, что сам уже устарел для ведения газеты, для участия в ней. Он дал для нее несколько стихотворений, из которых некоторые были напечатаны под рубрикой: «Из записной книжки», но без его имени, другие, вероятно, долго еще останутся в рукописи, хотя они почти все имеют отрывочный, неотделанный характер. (Прим. А.С. Суворина.)

он согрел его на голове своей. Глядит он на него, по шерстке гладит. Ну, хочешь со мной или на волю? Присел, спустил горностаюку — прижался зверек и вдруг бросился на волю... Это начало. Вот вам несколько стихов — делайте с ними, что хотите.